

© 2018 г.

В.Л. ШУЛЬЦ, Т.М. ЛЮБИМОВА

МОЛЧАНИЕ КАК КОНСТРУКТ ДИСКУРСА В СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ

ШУЛЬЦ Владимир Леопольдович – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (cona01@yandex.ru); ЛЮБИМОВА Татьяна Михайловна – доктор философских наук, кандидат филологических наук (t.ljubimova@yandex.ru). Оба – Москва, Россия.

Аннотация. В статье на материале анализа дискурса как одного из ведущих направлений в современной социалингвистике и «анализе разговора» (преконструкт как след в самом дискурсе предшествующих эпох, поставляющих материал для дискурсной формации; интердискурс как отношение дискурса к «уже услышанному»; интрадискурс как функционирование дискурса по отношению к нему самому) выстраивается типология форм молчания как конструктов завершающейся реальности, в которой заложено концептуальное начало новой реальности (забвение, умолчание, скрытые смыслы, эзопов язык, эвфемизм, «немая сцена»). Забвение рассматривается как спонтанный мнемонический механизм и как технология инструментального воздействия на память. В статье анализируется «невывказанное» как один из основных конструктов дискурса, демонстрируется иллюзорность прозрачности смыслов в тексте, обосновывается принцип открытости дискурса для множественной интерпретации, раскрывается механизм стыковки отдельных конструктов дискурса с зонами молчания, которые при всей эксплицитной асемантичности имплицитно наполнены множественными смыслами. Молчание как конструкт, берущий на себя роль сцепления между вербальным и невербальным, соотносится по принципу антитезы с полифонией (полилогом) М.М. Бахтина, понимаемым как множество авторских голосов.

Ключевые слова: преконструкт • интердискурс • интрадискурс • имплицитность • эксплицитность • интерпретация • идеологизация памяти • коллективная память • смыслоутрата • дезинформация

DOI: 10.31857/S013216250003172-2

Мысль о том, что не-высказанное, имплицитное может быть центральным в тексте, была впервые сформулирована французской школой анализа дискурса: «В то время, как лингвистика имеет дело с неговоримым (l'indicible) в форме невозможного (неграмматического), анализ дискурса имеет дело с невысказываемым (l'inénonçable), с тем, что может быть высказано в определенной высказывательной позиции» [Серио, 2002: 16]. Французская школа анализа дискурса (М. Пешё, К. Фукс, К. Арош, П. Анри) сформировалась в 1960-е гг. на основе взаимодействия лингвистики, неомарксизма и психоанализа. Именно «история и бессознательное вносят свою непрозрачность в наивное представление о прозрачности смысла для говорящего субъекта» [Серио, 2002: 16]. Понятие прозрачности смысла является иллюзорным. Анализ дискурса не проецирует более тексты на недискурсную реальность, доводя их до полной прозрачности, а подразумевает их

внутренне непрозрачными, открытыми для множественной интерпретации. «Семантическая единица не может образовываться как постоянная и однородная проекция “коммуникативного намерения”, она образуется скорее как некий узел в конфликтном пространстве, как некоторая, всегда неокончателная стабилизация в игре разнообразных сил» [Серио, 2002: 30].

Три основных понятия анализа дискурса: *преконструкт* как след в самом дискурсе предшествующих эпох, поставляющих материал для дискурсной формации; *интердискурс* как отношение дискурса к «уже услышанному», «уже имеющемуся»; *интрадискурс* как функционирование дискурса по отношению к нему самому есть совокупность явлений кореференции, которые прокладывают основную нить дискурса.

Анализ дискурса может рассматриваться как лингвистическая вариация социофилософского конструктивизма, разрабатывающего эпистемологические подходы, направленные на создание субъективных моделей интерпретации мира. «Реальность вырабатывается внутри системы через придание смысла. Она возникает, если разрешаются противоречия, которые могут являться следствием участия памяти в системных операциях, – к примеру, благодаря конструкциям пространства и времени» [Луман, 2005: 16]. Конструктивистский способ функционирования системы предполагает, что каждая коммуникация присоединяется к другой, «прерываясь именно таким образом, который допускает проведение границ и выстраивание внутри этих границ комплексности системы» [Луман, 2005: 29]. Можно постулировать, что стыковка отдельных конструктов этой мозаики производится путем чередования с зонами молчания, которые при всей своей эксплицитной асемантичности имплицитно наполнены множественными смыслами.

Какова же типология форм молчания как конструктов завершающейся реальности, в которых заложено концептуальное начало новой реальности?

Забвение как конструкт дискурса. Первой, смыслообразующей формой молчания является *забвение* как спонтанный мнемонический механизм и как технология инструментального воздействия на память, то есть в процессе идеологизации памяти. Значимость проблемы забвения столь велика, что во второй половине XX в. ее интерпретировали – в прямой, интертекстуальной, символической, метафорической форме – философия (рефлексивная философия, спиритуализм, экзистенциализм, феноменология, персонализм, герменевтика, эпистемология), психология (психоанализ, суггестология, гештальтпсихология), социология (напр.: [Романовский, 2011: 15–17]), социолингвистика, нейрофизиология, теория искусственного интеллекта, художественная литература [Любимова, 2008: 71].

XX век интерпретирует проблему забвения в модусе философского и социального познания, находится «в поисках утраченного познания». У Э. Гуссерля смысловым фундаментом познания является «жизненный мир», забвение которого приводит к трансформации механики нового времени в объективистскую модель; проблема забвения осмысливается как ситуация исчезновения смысла из истории, в результате чего история становится «неподлинной». Для М. Хайдеггера европейская онтология утратила понятие «бытие-в-мире» (*Dasein*), что и является «забвением бытия» и даже забвением вопроса о забвении бытия. Ж.-П. Сартр, для которого забвение экзистенциализмом некоторых стереотипов гуманизма (забвение об улыбке ребенка или о солидарности людей) не означает разрыва экзистенциалистской философии с гуманистической традицией, в целом решает проблему забвения с позиции смыслоутраты как удела человека XX века: «Бог умер» (Ф. Ницше), боги молчат, а человек, всеми забытый, «приговоренный к свободе, возлагает тяжесть всего мира на свои плечи» [Sartre, 1943: 639].

О символической интерпретации феномена исторической памяти речь идет в «Книге о смехе и забвении» М. Кундера, который приводит один исторический факт, производящий «взрыв» в семиотическом пространстве: в 1948 г. лидер компартии Чехословакии К. Готвальд произносит речь перед многочисленной толпой: «С обеих сторон Готвальда окружали его соратники, Клементис находился непосредственно рядом с ним... Готвальд стоял с непокрытой головой, Клементис в порыве участия снял свою меховую шапку и

надел на Готвальда. Отдел пропаганды воспроизвел в сотнях тысяч экземпляров фотографию Готвальда, который с балкона произносит речь перед народом... Готвальд окружен своими соратниками, и на нем надета меховая шапка. Все дети знают эту фотографию, поскольку видели ее на плакатах, в учебниках или музеях. Четыре года спустя Клементис был обвинен в измене и повешен. Отдел пропаганды тотчас изъясил его из истории и, разумеется, из всех фотодокументов. С этого момента Готвальд стоит на балконе один. На том месте, где был Клементис, теперь есть только голая стена дворца. От Клементиса осталась только меховая шапка на голове у Готвальда» [Куртин, 2002: 95]. На основе этого исторического факта французский лингвист Ж.-Ж. Куртин строит межпредметное обобщение: хотя процесс уничтожения Клементиса, утеря референции, вычеркивание из исторической памяти происходит в материальной, неязыковой сфере фотографического документа, в самом деле, этот процесс осуществляется прежде всего в порядке дискурса, то есть в дискурсе государственных языков, фильтрующем воспоминания об исторических событиях и наполняющем коллективную память иными высказываниями, которые широко тиражируются, обрекая на забвение изначальные смыслы [Куртин, 2002: 96].

«Это память с перегрузкой и пробелами, “память с затмениями”. Память политических пропагандистских языков, так называемых *langues de bois* (деревянных языков), приглушенные отголоски которых доносят до нас ветры с Востока» [Куртин, 2002: 96]. Считается, что «деревянный язык» впервые вылупился в восточноевропейских странах, в частности, в царской России, где поначалу олицетворял тяжелый и ригидный канцелярский язык бюрократии [Шульц, Любимова, 2015: 136]. Французский исследователь Ж. Гийерон проводит параллели между различными национальными вариациями «деревянного языка»: в Польше он расцвел под сладким названием «*Nowo mowa*», у китайцев он называется «свинцовым языком», у немцев – «бетонным», в США, начиная с 1960-х гг., он принимает форму «политкорректного языка». Потенциал исторической памяти различных вариаций «деревянного языка» связан с системными отношениями между дискурсивной (речевой) практикой того или иного общества и происходящими в нем социальными изменениями – вплоть до протестных, революционных событий.

Французский структуралист Ф. Соллерс, ссылаясь на Маркса, Ленина и неомарксиста Альтюссера, писал о том, что «всякое письмо, желает оно того или нет, является политическим». Язык, по мысли Ф. Соллерса, функционирует «в тексте капиталистического общества», поэтому демонтаж языка является наиболее эффективным способом демонтажа буржуазной системы [Андреев, 2001]. Левые французские интеллектуалы, вышедшие на баррикады в мае 1968 г., считали, что покончить с современным обществом потребления можно путем разрушения его языка – языка избитых штампов и выцветших лозунгов. Майские события 68-го года сокрушили «деревянный язык» послевоенного двадцатилетия деголлевской Франции. Еще одно двадцатилетие спустя процесс замены слов начался в недрах советской системы: язык цитаций из отчетов партсъездов, который больше не вызывал доверия, сменился прозрачным, тогда еще не засоренным языком перестройки. За этой новой языковой транспарентностью последовал демонтаж советской системы [Шульц, Любимова, 2015]. То есть специфическая субстанция дискурса, исторически связанная с функционированием идеологических аппаратов, получившая образное название «деревянного языка», является одной из форм существования исторической памяти.

В философской работе П. Рикера «Память, история, забвение» феноменология памяти концентрируется вокруг проблем внешнего воздействия на память в контексте исторического существования людей: личная память рассматривается в синтезе с коллективной памятью, с историей, и через стратегии забывания устанавливаются институциональные формы забывания, технологии идеологизации забывания. По мысли П. Рикера, именно прошлое в его двояком значении, мнемоническом и историческом, оказывается утраченным вследствие забывания. Разрушение архива, музея, города означает забывание. Как форма забывания выступает и преступление, совершенное третьим лицом, «причем под третьим лицом понимается государство, определяемое через его первейший долг обеспечения

безопасности индивида, проживающего на территории, границы которого устанавливаются институциональными правилами, узаконивающими это государство и налагающими на него определенные обязательства» [Рикер, 2004: 466].

П. Рикер фиксирует синхронизированный процесс управления памятью со стороны общества и власти. Идеологизация памяти становится возможной благодаря средствам варьирования в процессе нарративной конфигурации. Стратегии забывания прямо соотносятся с использованием этой конфигурации: всегда можно рассказать иначе, о чем-то умолчать, сместить акценты, рефигурируя участников действия и контуры самого действия. «Средства рассказа становятся ловушкой, коль скоро власти предержащие избирают такой способ построения интриги и навязывают канонический рассказ при помощи запугивания или подкупа, страха или мести» [Рикер, 2004: 619]. В подобных случаях вступает в силу особая форма забывания, причина которой коренится в лишении социальных акторов изначально имеющейся у них возможности самим говорить о себе. То есть феноменология памяти П. Рикера акцентирует проблему внешнего воздействия на мнемонический процесс.

Забвение может представлять не только как интенциональная идеологизация памяти в историческом и политическом контексте, но и как спонтанный мнемонический процесс на уровне индивидуального сознания. Мерцающие грани индивидуального забвения/памяти мы рассмотрим на материале статьи Ж.-К. Мильнера «Философский шаг Ролана Барта». На самом деле автор анализирует даже несколько последовательных философских шагов Р. Барта, которые постепенно увели его от сартровской Пещеры с ее смыслоутратой – к знаку и идее структурной упорядоченности мира; от мрака подземелья – к «Камере люцида», где человек ярко освещен и созерцает Солнце Блага; от забвения – к чуду памяти.

В представлении Р. Барта субъект может и должен идти против течения времени, следуя примеру греков, которые вступали в Смерть пятясь, – их прошлое было впереди. «По Барту, у греков – впереди их прошлое, иначе говоря, их мертвые; еще точнее, ибо множественное число имеет здесь дистрибутивный смысл, у каждого грека впереди его прошлое и его мертвые» [Мильнер, 2005: 90]. Если, согласно Беньямину, Ангел истории пятясь вступает в будущее, то, согласно Барту, субъект возвращает мертвым жизнь, против течения которой он пошел: на фотографии Барт встречает свою мать в облике девочки. Какие же интеллектуальные преграды Барт выстраивает для главного экзистенциального забвения – забвения смерти?

Как отмечает Ж.-К. Мильнер, уже первые тексты Барта привлекают читателя своеобразным использованием заглавных букв в сочетании с определенным артиклем множественного числа: *La Parole* (Речь), *L'Écriture* (Письмо), *La Littérature* (Литература), *La Porte* (Дверь), *Le Voile* (Покров), *Le Regard* (Взгляд). Эта заглавная буква взялась у Барта из немецкого языка, считающегося языком философии, а определенный артикль – из греческого: со времен Ионийской школы определенный артикль единственного числа является обозначением идеи в себе и для себя. Однако, по мысли Ж.-К. Мильнера, заглавной буквы как завета последовательного платонизма недостаточно, чтобы определить «эффект Барта». К нему надо добавить еще один признак – «эналлагу», то есть субстантивацию качественного прилагательного: например, «непристойное», «вязкое», «липкое», «тестообразное» в трактате Сартра «Бытие и ничто». «При этом аффективность становится схватыванием ... какой-то бесцветной случайности, чистым схватыванием себя самого как фактического существования. Это постоянное схватывание моим-бытием-для-себя какого-то безвкусного и неотделимо-близкого вкуса, который сопровождает меня даже в попытках избавиться от него и который является моим собственным вкусом, – это мы описали в другом месте под названием Тошноты» [Мильнер, 2005: 69]. Значение этого высказывания не понять без уяснения того, что Тошнота Сартра представляет собой свидетельство о реальности Пещеры, о ее физиологической близости. «Катастрофа сартровской Пещеры состоит в том, что чувственное в ней всегда может провалиться в Тошноту» [Мильнер, 2005: 69]. Барт отстаивает противоположную доктрину – он старается, чтобы эналлага не вела к Тошноте, ибо у каждой грани чувственного, воплощенной в эналлаге, есть своя

Идея. Избавление от Сартра состоялось для Барта через открытие Знака, через переход к семиотике и структурализму: «Открытие Знака как бы отправило Сартра на покой... С открытием знака идея удаляется, но не исчезает вовсе; она уступает место оппозитивному Признаку, который функционирует как ее полномочный представитель или дублер в Пещере. Не потому, что Признак похож на идею, словно отблеск в воде – на солнце, а потому, что его конститутивная оппозитивность делает его математически точным аналогом Идеи» [Мильнер, 2005: 74]. Знак становится открытием, и это открытие оказывает мощное освобождающее воздействие, так как наука, исходящая из Знака, становится наукой о *qualia*, то есть о чувственных качествах, об эналлаге. В «Камере люцида» Барта чувственные качества восстанавливаются и как чувственные качества, и как Идеи. Пещера – это Комната-Камера, залитая светом; это детская комната, куда заглядывает Мать (в обобщающем значении), она же и настоящая мать автора: заглавная и строчная буквы устанавливают эту дифференциацию между общим и единичным. Выход из Пещеры, то есть уход от экзистенциального недуга становится возможен потому, что «Чувственное существо (мать) в силу одного лишь факта своей необратимой утраты превращается в одноименную идею (Мать), причем, не поглощается ею, а становится ее живым сердцем» [Мильнер, 2005: 94]. То есть в восприятии автора происходит бесконечное движение от единичного человека – матери – к идее Матери, от пожелтевшей фотографии к универсальному обобщению, и происходит спасение – освобождение от экзистенциального недуга смыслоутраты. Иначе говоря, единичное спасает себя от забвения и небытия, превращаясь из чувственного качества (материнской близости) в общую идею материнства, становясь знаком, упорядочивающим родственные связи и эмоциональное к ним отношение в бесконечных будущих вариациях и комбинациях. Молчание девочки со старой, забытой фотографии наполняется звуком общей материнской судьбы в духе пастернаковского: «Но весело бродить и знать, что все проходит/ Меж тем, как счастье жить во веки не умрет».

«Умолчание» как интенционально направленная форма молчания. «Умолчание» – это старейший прием дезинформации. Префикс этого термина, отличающий его от семантически нейтрального слова «молчание», несет значение тенденциозной, направленной информации, что ограничивает его функционирование в основном сферой политического дискурса. В современном глобальном информационном пространстве умолчание «обречено» на редуцированные формы, причем в роли дозатора информации выступает лимит времени и пространства: упоминание о нежелательном событии может даваться в ссылках к сноскам или в комментариях к ним. Этот прием, известный со времен идеологической войны, получил также названия «выравнивания», то есть преуменьшения события путем уделения ему меньшего времени. Типологически близок ему и т.н. метод «барража», то есть способ отвлечения общественного внимания от какой-то темы. В системе «мягкой пропаганды», предложенной А.С. Мироновым (в книге «Раздувай и властвуй: технологии современной «мягкой пропаганды»), «умолчанию» соответствуют, как минимум, два приема, получившие образные названия «занижение информационного повода» и «глушилка», которая обязывает окружать враждебную тему информационной какофонией. В качестве примера пунктиром можно наметить реакцию многих представителей российской власти по принципу: «А был ли мальчик-то?» на известные коррупционные скандалы.

Прием «умолчания» давно получил международную прописку в связи с тем, что в глобальном информационном пространстве доминирующей тенденцией является однонаправленный поток информации от развитых стран к так называемым всплывающим (*émergeants*), с Запада на Восток, отмеченный еще в 1970-е гг. Г. Шиллером: «Односторонний в основе своей поток информации от центра к периферии – является одним из атрибутов власти» [Шиллер, 1980: 208]. Эта тенденция достигла апогея в эпоху распада СССР, когда в результате разрыва старых экономических и политических связей на постсоветском пространстве образовался информационный вакуум: «В образовавшийся вакуум хлынул поток западной информации, призванный вестернизировать общественное сознание россиян, подготовить его к восприятию идеи колониальной демократии»

[Информационное общество..., 1999: 16]. В результате на смену культурному империализму, выявленному Г. Шиллером, пришел информационный колониализм под маской свободного обмена информацией. Современный мир продолжает развиваться по тому же сценарию, который не предусматривает, что колон может занимать те же дискурсные позиции, что и колонизатор.

В таких болезненно пережитых арабским миром геостратегических акциях, как авианалеты с целью уничтожения фантомного оружия массового поражения и не менее призрачного следа Аль-Каиды (Ирак, 2003) или бомбардировки Ливии, метастратегией которых был не Кадафи, а углеводород, – по-прежнему торжествуют экспансионистские модели Запада. Информация из стран Востока остается в целом малодоступной для «заширенного» общественного сознания Запада, она подвергается процедуре «умолчания».

Семантика скрытых смыслов в дискурсе. Как утверждают французские аналитики дискурса, невысказанное, имплицитное является необходимым конструктом речи. «Когда мы говорим, “всегда говорится что-нибудь дополнительное и непрошеное”, и не только в случаях оговорок, когда другое слово занимает в цепочке место запланированного, а постоянно, за счет избытка смысла по сравнению с тем, что мы хотели сказать, так что “ни одно говорящее существо не может похвастаться, будто имеет власть над многочисленными отзвуками того, что оно говорит”» [Отье-Ревю, 2002: 80]. Генезис скрытых смыслов коренится как в объективных свойствах феномена «язык-речь», так и в субъективных интенциях речедателя. Во-первых, сама структура языка, включающая полисемию, синонимию, омонимию, является генератором имплицитных и двойных смыслов, скрытых аллюзий, суггестивных намеков. Во-вторых, переходя ко второму компоненту классической сосюрговской дихотомии язык/речь, отметим, что в имманентную речь человека всегда впадают «чужие» слова, некие «*déjà dit*», так что любой дискурс по сути полифоничен. Диалектика многоголосья в индивидуальной речи и привела лингвистов к концептуализации понятия интердискурса. Интердискурс реализуется в виде как прописных истин, так и «истин, вывернутых наизнанку» (Ф. Вийон), – всего того, что уже воспринято, осмыслено и пережито сообществом говорящих на том или ином языке людей. Пре-конструкты интердискурса образуют интертекстуальность современного текста, то есть коллекцию следов предшествующего интеллектуального опыта человечества и культурно-исторических констант, знакомых общественному сознанию, которые монтируются во вновь создаваемый текст и создают стереоскопический эффект, благодаря чему текст обретает новое прочтение. Термин «интертекстуальность» введен Ю. Кристевой в смысле «текстуальной интеракции, которая происходит внутри отдельного текста»; термины, предложенные другими исследователями – «текст в тексте» (Ю.М. Лотман), «цитация» (Е.А. Земская). «Интертекстуальность ... создает вертикальный контекст», порождая двуплановость и многоплановость, создавая поэтический намек, подтекст, загадку, рождая ироническое, саркастическое, гротескное, трагическое звучание, способствуя иерархизации смысла, придавая бытовой речи смысл иносказания» [Клушина, 2008: 492]. Интертекст пробуждает в тексте скрытые смыслы – как экстратекстуальные, в готовом виде перешедшие из одного текста в другой, так и гибридные, рожденные в процессе текстуальной интеракции, путем синтеза конструктов и пре-конструктов. В-третьих, невыраженность смысла может быть субъективной интенцией говорящего, может представлять собой результат намеренной недосказанности в высказывании. А.А. Масленникова рассматривает два вида интенциональных эксплицируемых скрытых смыслов: незаконченные высказывания и высказывания, содержащие намеки. В незаконченных высказываниях прослеживается одновременное действие фактора имплицитности, то есть пропуска информации, и прагматического фактора, обуславливающего законченность высказывания. Намек – интенциональный скрытый смысл, который вводится в речь как посылка для индуктивного вывода адресата. Намек раскрывается А.А. Масленниковой на примере одного из эпизодов романа А. Кристи, в котором речь идет об угрозе жизни героини. Знаменитый сыщик Пуаро хочет предупредить ее об опасности и делает это намеком, желая молодой

женщине долгих лет жизни. Пожелание долгих лет жизни молодой девушке нарушает принцип релевантности и представляется нонсенсом: оно не годится при обращении к людям, не достигшим зрелого возраста. Героиня находится перед дилеммой: 1) или тост носит иронический характер, но этому противоречит интонация говорящего, 2) или ее жизни угрожает опасность. Героиня делает верное индуктивное заключение относительно скрытого смысла тоста Пуаро [Масленникова, 1999: 111].

Семантика молчания в эзоповом языке. Эзопов язык – особый вид тайнописи, к которому прибегали в условиях цензуры авторы художественных и публицистических текстов, вынужденно подвергая умолчанию наиболее болезненные реалии современной им жизни. Эзопов язык – это, конечно, не язык в сугубо лингвистическом понимании. Это определенный тип коммуникации между автором и читателем, при котором смыслы остаются скрытыми от цензора и приоткрываются только вдумчивым читателям; одновременно это определенный стиль, особая техника письма, использующая систему иносказательных приемов [Шульц, Любимова, 2016].

Эзопов язык представляет собой художественную систему умолчания и сокрытия, выработанную за два с половиной тысячелетия противостояния литераторов и власти: от Эзопа, дурачившего своего хозяина аллегорическими образами животных в баснях, до ряда писателей и поэтов XX в., которые вынуждены были писать «опальный стих, не знающий отца» (О. Мандельштам) и говорить сгущенным «эзоповым языком в третьей степени» (И. Бродский).

В XIX в. эзопов язык был не только инструментом обмана и обхода цензуры, но и механизмом пророчества. Это его конструктивное свойство заложено в общей недосказанности контекста. М.Е. Салтыков-Щедрин удивлялся тому, как быстро в российской жизни сбываются его карикатурные преувеличения, однако еще большим подтверждением его пророчеств стал XX в. Поразительным предсказанием М.Е. Салтыкова-Щедрина был 1937 год, массовые доносы и репрессии эпохи сталинизма: «Началось общее судьбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп-шлеп!.. Сбросивши очередного Ивашку с колокольни, а другого вздернувши на дыбу, глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные» [Щедрин, 1934: 309–310].

Почему эзопов язык несет в себе зерна будущего? Предугадывание будущего вообще свойственно художественной литературе. В «Роли читателя» У. Эко писал о том, что книга может выступать в качестве времясокрушителя и что заслуживают внимания те, кто утверждает: литература иногда выполняет пророческую функцию [Эко, 2007: 408–409]. В произведениях, использующих эзопов язык, потенциал опережения и предвидения будущего возрастает, потому что конструкты молчания (умолчания), наряду с метафорами, становятся своеобразными кванторами, то есть семантическими стрелками будущего. Конструкты умолчания вуалируют имена и события, по поводу которых нельзя сказать напрямую, в духе Э. Золя: «Я обвиняю», – хотя и вуалируют их в междустрочном пространстве прозрачности и доступности для читателя («Рябой черт» у И. Бродского – это, понятно, И.В. Сталин), – и для этой цели используют целую систему художественных средств (перифразы, псевдонимы, аллюзии, иронию, соположения, контрасты, сказочные и басенные образы), становясь тем самым смыслообразующими узлами отражения действительности, ее анализа и прогноза будущих реалий.

Эвфемизмы как конструкты молчания. Эвфемизмы – смягченное обозначение явлений грубых и мало пристойных, о которых избегают говорить прямо, о которых предпочтительнее умолчать. Этимологически они связаны с запретами и табу, наложенными вследствие верований и предрассудков. Языком эвфемизмов нередко изъяснялись героини русской классической литературы – дамы «приятная и приятная во всех

отношениях» (Н.В. Гоголь), героиня Н.С. Лескова: «К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастье вчера быть в бестелесном маскараде» [Лесков, 1956–1958, т. 1: 151]. В современный русский язык вошли тысячи новых форм-заменителей: «авторитет» (как умолчание о преступной группировке), «бальзаковский возраст» (умолчание о старении), «веселенький» (умолчание о пьянстве), «без предрассудков» (умолчание о безнравственности), «было то, что было» (умолчание о порицаемом событии), «Вера Михайловна» (высшая мера наказания), «Галина Борисовна» (государственная безопасность), «гастролер» (иногородний преступник), «коррупция» (воровство), «красный петух» (поджог), «не подарок» (плохой), «не сошлись характерами» (развелись), «небо в клетку» (тюрьма) и др.

Табуирование политики происходит путем использования политических эвфемизмов. Американский лингвист Д. Болинджер одним из первых показал, что в целях скрытого воздействия на сознание бомбардировки становятся «защитной реакцией или воздушной поддержкой», точечные бомбардировки – «хирургическими ударами»; концентрационные лагеря – «центрами умиротворения»; ядерная бомба – «усиленным радиационным оружием» [Болинджер, 1998: 23–44]. По мысли французского исследователя Ф. Бретона [Breton, 2000: 111–112], эвфемизмы функционируют как своего рода ментальные рельсы. Он напоминает, что постоянно приходится читать и слышать о том, как полиция в европейских странах, подавляя протестные выступления, применила «каучуковые пули». Неопытный человек обычно удивляется, как такая пуля могла ранить или убить кого-то. На самом деле это стальные шарики, обернутые тонким слоем резины. Языковое переформатирование не позволяет видеть, насколько применение этих пуль может быть грубее, чем слово, скрывшее жесткую реальность. Политические эвфемизмы, которые «вошли в моду» в западных странах в ходе последних военных кампаний – «ответный удар» (по поводу натовских бомбардировок территории арабских стран), «нацеленные удары» (в целях умаления жестокости бомбардировок), «побочный ущерб» (о жертвах среди мирного населения), «международное сообщество» (когда речь идет о позиции лишь отдельных стран) и др.

«Немая сцена» как универсальное молчание. В художественном дискурсе она может выступать как «метамолчание», как синтез всех возможных форм и фигур молчания. Такова заключительная сцена «Ревизора» Н.В. Гоголя, вобравшая в себя всю множественность смыслов, все оттенки и нюансы «человеческой комедии». Известное гоголевское намерение «собрать в одну кучу все дурное в России» реализуется в «Ревизоре» как дискурс, в котором крайне лаконичный финальный конструкт, столь же молниеносный, как и заключительный конструкт, грохочет бесшумным громом немного кино и концентрирует всю семантику молчания:

– невротический страх («окаменевший, как столб, городничий»);

– смех в традициях народной смеховой культуры, который извергается «по законам карнавальная свободы», создавая «особую форму вольного фамильярного контакта между людьми» («три дамы с самым сатирическим выражением лица»);

– тягостное, полное тревоги вопрошание («почтмейстер как вопросительный знак»);

– карикатурное изумление («Бобчинский и Добчинский с разинутыми ртами»);

– импульсы и реакции суггестивного характера («Коробкин с едким намеком на городничего»);

– наконец, вселенское разочарование, нарастающее crescendo (судья, одним лишь движением губ произносящий: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»).

Невысказанное («l'inénonçable» в теории А.Д.) как конструкт дискурса выходит на метауровень текста и образует плотный семантический узел, стягивающий воедино разъединенные молчания. Молчание становится таким образом метамолчанием, соотносимым по принципу антитезы с полифонией (полилогом) М.М. Бахтина, понимаемым как множество несочетающихся автономных голосов.

В «Камере люциде» Р. Барт сказал: «Для нас, людей Запада, скрытое «истиннее» видимого» [Мильтнер, 2005: 73]. Перефразируя эту мысль, мы можем сказать, что для нас

(у-)молчание как конструкт дискурса может быть содержательнее слов. Островки молчания, соединяющие звучащие фрагменты речи, заселены разными смыслами, доносящимися до нас, как музыка, сильно и абстрактно. Если верить цифрам, полученным в результате исследований британских психологов, межличностная коммуникация складывается из 7% собственно вербальных средств (слов), 38% средств фонетического оформления речи и 55% невербальных средств [Тер-Минасова, 2008: 95]. Вероятно, конструкты молчания в потоке коммуникации берут на себя эту важнейшую роль сцеплений между вербальным и невербальным. Несмотря на неконкретность и открытость для множественных интерпретаций, это отнюдь не «нож без лезвия, которому не хватает рукоятки», а действенный инструмент речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андреев Л.Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. М.: Высшая школа, 2001. С. 292–334.
- Боллинджер Д. Истина – проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 23–44
- Информационное общество. Информационные войны. Информационное управление. Информационная безопасность. СПб.: С.-Петербургский ун-т, 1999.
- Клушина Н.И. Особенности публицистического стиля // Язык средств массовой информации. М.: Академ. проект; Альма Матер, 2008. С. 479–495.
- Куртин Ж.-Ж. Шапка Клементиса (заметки о памяти и забвении в политическом дискурсе) // Квадратура смысла. М.: Прогресс, 2002. С. 95–104.
- Лесков Н.С. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Худож. лит-ра, 1956–1958.
- Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005.
- Любимова Т.М. Концепт «забвения» в стратегии информационной войны // Информационные войны. 2008. № 1. С. 69–74.
- Масленникова А.А. Лингвистическая интерпретация скрытых смыслов. СПб.: С.-Петербургский ун-т, 1999.
- Мильнер Ж.-К. Философский шаг Ролана Барта // Республика словесности. Франция в мировой интеллектуальной культуре. М.: Нов. лит. обозрение, 2005. С. 58–102.
- Отье-Ревю Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе // Квадратура смысла. М.: Прогресс, 2002. С. 54–94.
- Рикер П. Память, история, забвение. М.: Гуманит. лит-ра, 2004.
- Романовский Н.В. Новое в социологии – «бум памяти» // Социологические исследования. 2011. № 6. С. 13–23.
- Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. М.: Прогресс, 2002. С. 12–53.
- Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово, 2008.
- Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М.: Мысль, 1980.
- Шульц В.Л., Любимова Т.М. «Деревянный язык» как зеркало революции // Социологические исследования. 2015. № 1. С. 136–145.
- Шульц В.Л., Любимова Т.М. Тайные языки как конструкты социальной реальности // Социологические исследования. 2016. № 6. С. 3–13.
- Щедрин Н. Полн. собр. соч. Т. 9. Л.: Худож. лит-ра, 1934.
- Эко У. Роль читателя. СПб.: Symposium, М.: РГГУ, 2007.
- Sartre J.-P. L'Être et le néant. Paris: Gallimard, 1943.

Статья поступила: 23.07.18. Принята к публикации: 20.08.18.

SILENCE AS A DISCOURSE CONSTRUCTION IN SOCIOLINGUISTICS

SCHULZ V.L.*, LIUBIMOVA T.M.*

*Lomonosov Moscow State University, Russia

Vladimir L. SCHULZ, Dr. Sci. (Philos.), Correspondent Member, Russian Academy of Sciences, Department Head, M. Lomonosov Moscow State University (cona01@yandex.ru); Tatiana M. LIUBIMOVA, Dr. Sci. (Philos.), Cand. Sci (Philol.) (t.liubimova@yandex.ru). Both – Moscow, Russia.

Abstract. The article uses three main concepts of discourse (conversation) analysis school as a key area in modern sociolinguistics (a preconstruct as a trace in the discourse of the preceding epochs, supplying material for the formation of discourse; interdiscourse as the relations that a discourse has to what is «already heard», «already present»; intradiscourse as the operation of discourse with respect to itself, that is, the phenomena of coreference, which generates the main thread of discourse) to build a typology of forms of silence as constructs of an ending reality, in which the conceptual beginning of a new reality is laid (oblivion, omission, hidden meanings, parables, euphemisms, silent scene). Oblivion is regarded as a spontaneous mnemonic mechanism and as a technology of instrumental influence on memory, that is, the ideologization of memory paralysis is analyzed as the oldest method of disinformation, doomed in the modern global space to reduced forms. The genesis of hidden meanings is found both in the objective properties of the *langue and parole* phenomenon and in the subjective intentions of the utterer. Aesopian language is interpreted as an artistic system of paralyzes and concealment, worked out over two and a half millennia of confrontation between men of letters and authorities. Political euphemisms as a soft way to deal with unpleasant subjects are considered as a means of tabooing of the modern politics. The mute scene is interpreted as meta silence, the synthesis of all possible forms and figures of silence. In the article to analyze the unsaid as a key discourse construct, demonstrate the illusory nature of the transparency of meanings in a text, and explain the principle of discourse being open to multiple interpretations, explains the mechanisms of linking separate discourse constructs with spots of silence, which, while explicitly devoid of any semantics, are implicitly filled with a multiplicity of meanings.

Keywords: pre-construct, inter-discourse, intra-discourse, implicit, explicit, interpretation, memory ideologization, collective memory, loss of meaning, disinformation.

REFERENCES

- Andreev L.G. (2001) How did the History of the Second Millennium End? In: *Foreign Literature of the Second Millennium. 1000–2000*. Moscow: Vysshaya shkola: 292–334. (In Russ.)
- Autier-Revue J. (2002) Explicit and Constitutional Heterogeneity: on the Problem of the Other in Discourse. In: *Quadrature of Sense*. Moscow: Progress: 54–94. (In Russ.)
- Boling D. (1998) Truth is a Linguistic Problem. In: *Language and Modeling of Social Interaction*. Blagoveschensk: I. Boduen de Kurtene BGK: 23–44. (In Russ.)
- Eco U. (2007) *The Role of the Reader*. Saint-Petersburg.: Symposium, Moscow: RGGU, 2007. (In Russ.)
- Information Society. Information Wars. Information Management. Information Security. (1999) Saint-Petersburg: S.-Petersburgskiy un-t. (In Russ.)
- Klushina N.I. (2008) Features of the Public Discourse Style. In: *Mass Media Language*. Moscow: Akadem. proekt; Alma Mater: 479–495. (In Russ.)
- Kurtin Zh. (2002) Clementis' Hat: Notes on Memory and Oblivion in Political Discourse. In: *Quadrature of Sense*. Moscow: Progress: 95–104. (In Russ.)
- Leskov N.S. (1956–1958) *Full Collection of Writings*. Vol. 1. Moscow: Hudozh. lit-ra. (In Russ.)
- Lubimova T.M. (2008) The Concept of Oblivion in the Information War Strategy. *Informatsionnye voiny* [Information Wars]. No. 1: 69–74. (In Russ.)
- Luman N. (2005) *Mass Media Reality*. Moscow: Praxis. (In Russ.)
- Maslennikova A.A. (1999) *Linguistic Interpretations of Hidden Meanings*. Saint Petersburg.: S.-Petersburgskiy un-t. (In Russ.)
- Milner J. (2005) The Philosophical Step of Roland Barthes. In: *Republic of Words. France in the Global Intellectual Culture*. Moscow: Nov. lit. obozrenie: 58–102. (In Russ.)
- Riker P. (2004) *Memory, History, Oblivion*. Moscow: Gumanit. lit-ra. (In Russ.)
- Romanovskiy N.V. (2011) Nova in Sociology – «Memory Boom». *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 6: 13–23. (In Russ.)
- Sartre J.-P. (1943) *L'Être et le néant*. Paris: Gallimard. (In Fr.)
- Schedrin N. (1934) *Full Collection of Writings*. Vol. 9. Leningrad: Hudozh. lit-ra. (In Russ.)
- Schiller H. (1980) *Thought Manipulators*. Moscow: Mysl'. (In Russ.)
- Schulz V.L., T. Lubimova T. M. (2015) «Wooden Language» as a Mirror of the Revolution. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 1: 136–145. (In Russ.)
- Schulz V.L., Lubimova T.M. (2016) Secret Languages as Constructs of Social Reality. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 6: 3–13. (In Russ.)
- Serio P. (2002) How People Read Texts in France. In: *Quadrature of Sense*. Moscow: Progress: 12–53. (In Russ.)
- Ter-Minasova S.G. (2008) *The War and Peace of Languages and Cultures*. Moscow: Slovo. (In Russ.)